Либералисты и либертены: случай Пушкина

Отзыв о Пушкине декабриста, члена Общества соединенных славян И.И. Гор­бачевского (1800—1869) — пожалуй, самая резкая и почти табуированная в пушкиноведении оценка личности поэта. Содержавшийся в письме Горба­чевского другому декабристу, М.А. Бестужеву (1800—1871), отзыв о Пушкине настолько смутил пушкиниста М.И. Семевского, что он исключил его из пер­вой публикации письма, мотивируя свой неординарный для профессиональ­ного историка поступок тем, что оценки Горбачевского не могут быть напеча­таны как «крайне резкие о личном характере великого поэта и голословные»[1].

В научный оборот отзыв Горбачевского был введен незадолго до револю­ции 1917 года, когда авторитет Пушкина стал уступать пжтету перед декаб­ристами как зачинателями русского революционного движения. Публикатор отзыва, П.Е Щеголев, был не только замечательным пушкинистом и истори­ком, но и профессиональным революционером. Поэтому в полном виде письмо Горбачевского впервые увидело свет на страницах революционной (меньшевистской) газеты «День»[2] и лишь затем появилось в отдельном изда­нии записок и писем Горбачевского[3]. Характерно, что произошло это в сто­летнюю годовщину восстания декабристов, 1925 году. Впрочем, уже в 1963 го­ду, в следующем академическом, то есть претендующем на полноту, издании записок и писем Горбачевского отзыв был опубликован с купюрой. Приведем его полностью:

Я не могу забыть той брошюрки, которую я у тебя читал, сочинения нашего Ив.<ана> Ив. <ановича> Пущина о своем воспитании лицейском и о своем Пушкине, о котором он много написал. Бедный Пущин, он того не знает, что нам от Верховной Думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге. [И почему было прямо сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей разврат­ной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества. И теперь я в этом совершенно убежден, — он сам при смерти это подтвердил, Жуковскому: «Скажи ему <императору Николаю I. — И.Н> , что если бы не это, я был бы весь его». Что это такое? И это сказал Народный поэт, которым именем все аристократы и подлипалы так его называют.] Прочти со вниманием об их воспитании в Лицее; разве из такой почвы вы­растают народные поэты, республиканцы и патриоты? Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лише­ния, тот голод и холод, что мы терпели? А посмотри их нравственную сто­рону. Мне рассказывали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пуш­кина такие на юге проделки, что и теперь уши краснеют[4].

Отзыв был сделан 12 июня 1861 года по прочтении Горбачевским «Запи­сок о Пушкине», написанных лицейским другом поэта, декабристом, членом Северного общества И.И. Пущиным (1798—1859).

Советские публикаторы Горбачевского П.Е. Щеголев[5] и Б.Е. Сыроечковский[6] поспешили объяснить резкость оценок и шокирующий характер при­веденных фактов ошибками памяти декабриста. Основанным на ошибке памя­ти они считали прежде всего утверждение Горбачевского о том, что в Южном обществе существовал запрет на знакомство с Пушкиным. Исследователи по­лагали, что в сентябре 1825 года, когда происходило общение Горбачевского с М.П. Бестужевым-Рюминым и С.И. Муравьевым-Апостолом (а именно они осуществляли связь между Верховной Думой Южного общества и Обществом соединенных славян), в подобном запрете не было необходимости, потому что Пушкин уже покинул юг России и находился в Михайловской ссылке. Но, конечно, одного этого соображения недостаточно, чтобы опровергнуть утверждение Горбачевского и доказать ошибку его памяти. Дело в том, что в сентябре 1825 года пребывание Пушкина в Михайловской ссылке не могло выглядеть как необоримое препятствие для контактов между ним и кем-либо из «южан». Тогда еще никто не мог предположить, что в декабре того же года случится восстание и после него встреча поэта с декабристами действительно станет невозможной. Следовательно, если Верховная Дума Южного общества в самом деле имела своей целью пресечь контакты Пушкина со своими чле­нами, в сентябре 1825 года этот запрет еще мог существовать, даже если он был сделан раньше, когда Пушкин был на юге.

Интересный анализ отзыва Горбачевского принадлежит современному исследователю декабризма, В.С. Парсамову[7]. Парсамов считает, что рез­кость отзыва Горбачевского отражает исключительно его индивидуальную (а не определенной части декабристского сообщества) позицию, — позицию человека скорее разночинного, чем дворянского, происхождения и миро­воззрения. «Пушкин для Горбачевского, — развивает свою мысль исследо­ватель, — воплощает дворянскую верноподданническую культуру и дво­рянское поведение. Недоверие к дворянству у Горбачевского с годами не только не проходило, но все больше нарастало и достигло своего апогея в годы крестьянской реформы, которую он оценивал с революционно-демо­кратических позиций»[8]. «Таким образом, — утверждает Парсамов, — оценка Горбачевского отражает реалии не столько 1825 года (когда декабрист не­долго, но бурно общался с М.П. Бестужевым-Рюминым и С.И. Муравьевым- Апостолом. — И.Н.), сколько идеологическую ситуацию начала шестиде­сятых годов»[9].

С Парсамовым можно согласиться, по крайней мере, в том, что Горбачев­ский представлял самый «левый», наиболее демократический фланг декаб­ристского движения. Резкость оценок действительно выделяет его среди других декабристов. Интересно, что при этом близко знавший его современ­ник, революционер-шестидесятник, друг Н.Г. Чернышевского, В.А. Обручев не подтверждал демократических установок Горбачевского. В 1862 году Об­ручев жил на поселении в Петровском Заводе, где декабристы проходили каторгу и где после освобождения остался жить Горбачевский. В своих вос­поминаниях об этом годе Обручев писал:

Ивану Ивановичу было в то время шестьдесят три года. Он был широкий мужчина, несколько выше среднего роста, с крупной, мало поседевшей го­ловой, причесанной или растрепанной на манер генералов александровских дней, но при пушистых усах и бакенбардах. По внешности он был бы на своем месте только в обстановке корпусного командира. И говор у него был важных старцев, барский, густой, чисто русский, без малейшего следа хох­лацкого происхождения или сибирского навыка. Такой же барский, всегда благосклонный, был у него и взгляд. Во всем он был барин[10].

В чем невозможно согласиться с Парсамовым, так это в том, что утвержде­ние Горбачевского о запрете Верховной Думы знакомиться с Пушкиным определено реалиями шестидесятых годов. Потому что если это не ошибка памяти и не факт из истории декабризма, а обстоятельство, обусловленное идейными соображениями, характерными для начала 1860-х годов, то иначе, как клеветой, его назвать нельзя. Между тем знавшие Горбачевского совре­менники и исследователи сходятся в том, что на клевету Горбачевский не был способен. Более того, среди декабристов Горбачевский имел репутацию стро­гого мемуариста, которому можно было доверять. Его «Записки» до сих пор являются наиболее точным и подробным свидетельством об Обществе со­единенных славян и о восстании Черниговского полка. Следовательно, нет оснований не доверять утверждению Горбачевского о существовании (в той или иной форме) запрета, о котором он упоминает.

Н.Я. Эйдельман[11] был первым среди советских историков, кто признал утверждение Горбачевского о существовании запрета на знакомство с Пушки­ным для членов Южного общества истинным. При этом Эйдельман объяснял распоряжение Верховной Думы случайным обстоятельством, а именно — клеветническими сведениями о Пушкине, дошедшими до М.П. Бестужева- Рюмина и С.И. Муравьева-Апостола через одесского знакомого поэта, Алек­сандра Николаевича Раевского[12]. В качестве аргумента, указывающего на то, что Александр Раевский клеветал на поэта, ученый приводит стихотворение Пушкина «Коварность» (1824), где, как считает Эйдельман, строка «...сам презренной клеветы / ...невидимым был эхом» указывает на Раевского.

О сложной роли Александра Раевского в одесский период жизни Пушкина писали давно. Эйдельман был не первым, кто полагал, что в стихотворении «Коварность» Пушкин имел в виду А. Раевского. Автор этой гипотезы — Т.Г. Цявловская[13], и самое мягкое, что про эту гипотезу можно сказать, — это то, что она не стала общепринятой. Так, строя гипотезу на гипотезе, Эйдельман изменяет своей обычной исследовательской объективности единственно для того, чтобы объяснить запрет членам Южного общества знакомиться с Пушкиным случайными обстоятельствами. Исследователь был всего в од­ном шаге от того, чтобы дать отзыву Горбачевского глубокое историческое объяснение. Но шаг этот не был сделан, потому что Эйдельман избегал рез­кого противопоставления Пушкина декабристам. С его точки зрения, Пушкин и декабристы относились к одному идеологическому лагерю — и разногласия между ними, если и были, имели не принципиальный характер и основыва­лись на стечениях обстоятельств.

Значительно более сложно, чем Эйдельман, оценивал отношение декаб­ристов к Пушкину Ю.М. Лотман:

Непонимание особенности пушкинской позиции рождало в конспиратив­ных кругах представление о том, что он еще «незрел» и не заслуживает до­верия. И если люди, лично знавшие Пушкина и любившие его, смягчали этот приговор утешающими рассуждениями о том, что, будучи вне тайного общества, Пушкин способствует своими стихами делу свободы (Пущин), или ссылкой на необходимость оберегать его талант от опасностей, связан­ных с непосредственной революционной борьбой (Рылеев-то себя не бе­рег!), то до людей декабристской периферии, лично с Пушкиным не знако­мых и питающихся слухами из третьих рук, доходили толки такого рода: « Он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества». Эти слова вопиющей несправедливости сказал И.И. Горбачевский — декабрист редкой стойкости, честный и мужественный человек. При этом он сослался на такие святые для декабристов авторитеты, как мнение повешенных С. Муравьева-Апостола и М. Бестужева-Рюмина. Михаил Бестужев, чьи пометки покрывают рукопись, вполне с этим согласился[14].

В то же время, как видно из приведенной цитаты, и Лотман считал отзыв Горбачевского опосредованным «слухами из третьих рук», полученными от людей, «лично с Пушкиным не знакомых». Между тем совершенно очевидно, что одних слухов о «дурном поведении» недостаточно, чтобы сделать шоки­ровавший всех вывод о том, что Пушкин «по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества».

В самом деле, поведение Пушкина в Одессе, как, впрочем, до того в Пе­тербурге и в Кишиневе, имело настолько скандальный характер, что у декаб­ристов с их установкой на строгие моральные нормы не было никакой необходимости прибегать к поиску дополнительных обстоятельств, которые могли бы привести к запрету на знакомство с поэтом.

Приведем одну забавную и необязательную, но очень показательную па­раллель: родители семнадцатилетнего графа М.Д. Бутурлина, узнав, что он подружился с Пушкиным, запретили мальчику всякое общение с поэтом[15]. Никаких инсинуаций для этого не потребовалось, хватило той репутации, ко­торую поэт к этому времени приобрел.

Следует отметить, что имелось важное обстоятельство, которое могло от­рицательно сказаться на репутации Пушкина: формальным поводом для его ссылки было обвинение в атеизме. Поэтому поэт был сослан в Михайловское под духовный («церковный») надзор[16]. Хотя не вполне ясно, когда именно широкая публика узнала об этом обвинении (скорее всего, это произошло уже после отъезда поэта из Одессы), совершенно очевидно, что атеизм портил репутацию Пушкина в глазах декабристов ничуть не меньше, чем в глазах других его современников.

Таким образом, имеются веские основания предположить, что запрет на зна­комство с Пушкиным, действовавший для членов Южного общества, не был вызван случайными обстоятельствами (или «особыми» инсинуациями), а стал следствием «социальной репутации» Пушкина, сложившейся к тому времени.

Понятие «социальной репутации», введенное в научный оборот В.Э. Вацуро, имеет чрезвычайно важное значение для нашего исследования и стоит того, чтобы привести его определение целиком:

Во все времена историческому лицу сопутствует социальная репутация. Рядом с подлинным человеком живет, как отделившаяся от него тень, его облик, созданный современниками, представление о его личности и о его общественной роли. Если оно резко расходится с объективным смыслом его деятельности, потомкам приходится восстанавливать историческую справедливость. Социальная репутация Пушкина создавалась разными людьми и из разных побуждений — по добросовестному заблуждению, и намеренно, потому что начиная с 1826 года он попадает в сферу политиче­ской и литературной борьбы[17].

Продолжая сравнение Вацуро социальной репутации поэта с «отделив­шейся от него тенью», замечу, что, сколь ни самостоятельна была эта репута­ция, она, как настоящая тень, в значительной степени отражала реальные ка­чества личности Пушкина и особенности его творчества. Собственно, отзыв Горбачевского именно потому и вызвал у пушкинистов неприятие, гранича­щее с полным отторжением, что резко и однозначно связал запрет знако­миться с Пушкиным с неблаговидным поведением поэта. Можно было бы считать эту оценку частным мнением не слишком культурного человека, если бы не пришедшее к нам за последние десятилетия понимание того, что отзыв действительно отражает «социальную репутацию» Пушкина.

Цель этой статьи — реконструировать, что именно из того, что декабристы обсуждали между собой, не вынося свои суждения на суд широкой публики, вобрал в себя отзыв Горбачевского.

I

Среди тех, с кем Горбачевский общался в годы каторги и ссылки, лично с поэ­том были знакомы довольно многие, но, пожалуй, мнение четырех из них — С.Г. Волконского, И.Д. Якушкина, В.Л. Давыдова и И.И. Пущина — могло в наибольшей степени повлиять на его представления о Пушкине.

Во-первых, все четверо знали Пушкина близко, а Пущин, как известно, был близкий друг поэта. Во-вторых, все вышеперечисленные декабристы, как и сам Горбачевский, были осуждены по первому разряду — смертная казнь, замененная двадцатилетней каторгой, — и все они к 1830 году собрались в Петровском Заводе. В тесном общении с ними Горбачевский провел годы и сохранил дружеские отношения после освобождения. Наконец, «публичная» история общения с Пушкиным каждого из четверых включает сюжет о том, как Пушкин едва не был принят в тайное общество, но в последний момент этого избежал.

С. Г. Волконский — единственный из четырех, прямо назвавший причину, по которой он не принял Пушкина в тайное общество. В изложении его сына, Михаила Сергеевича Волконского, это звучит следущим образом:

Не знаю, говорил ли я Вам, что моему отцу было поручено принять его в Общество и что отец этого не исполнил. «Как мне решиться было на это, — говорил он мне не раз, — когда ему могла угрожать плаха, а теперь что его убили, я жалею об этом. Он был бы жив, и в Сибири его поэзия стала бы на новый путь». И действительно, представьте себе Пушкина в рудниках, Чите, на Петровском заводе и на поселении — что бы он создал там[18].

Время общения Пушкина с С.Г. Волконским делится на два относительно коротких периода: первый — с мая 1820 года по февраль 1821 года, второй — первая половина июня 1824 года. Если Волконский имел в виду принять Пушкина в тайное общество, то более вероятно, что это намерение относится не к первому периоду их знакомства, а ко второму. В 1820 году Волконский сам был свежеиспеченным членом Союза благоденствия, а к 1823 году стал одним из начальствующих действующих лиц Южного общества, рукодителем его Каменецкой управы, и, следовательно, мог иметь необходимые пол­номочия. Кроме того, упомянутая в письме М.С. Волконского «плаха» не подразумевала участие в полуоткрытом Союзе благоденствия, другое дело — Южное общество: никто из его членов не остался без наказания.

Именно ко второму периоду знакомства Пушкина с Волконским относится единственное дошедшее до нас письмо декабриста поэту. Написанное вскоре после высылки Пушкина из Одессы, оно содержит не только дежурное по этому поводу сожаление, но и неформальное выражение приязни, что, по- видимому, должно было иметь особенное значение в контексте скандальных событий вокруг высылки. Волконский прямо упоминает о «сплетнях, кои московские вертушки вам настряпали», тем самым отводя от Раевского по­дозрения в их авторстве, и далее так характеризует своего будущего род­ственника (в том же, 1824 году Волконский женился на родной сестре А. Ра­евского Марии): «Неправильно вы сказали о Мельмоте, что он в природе ничего не благословлял, прежде я был с вами согласен, но по опыту знаю, что он имеет чувство дружбы — благородными и не изменными обстоятельствами»[19]. «Мельмотом», по имени героя романа Ч.Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец», называли А. Раевского в узком кругу «демонически» настроенных одесских приятелей Пушкина. К этому кругу принадлежала тогдашняя воз­любленная Пушкина, Каролина Собаньская, бывшая в то же время любов­ницей и политическим агентом генерала И.О. Витта[20]. Последний занимал пост начальника военных поселений и, как об этом говорилось в официальных документах следствия по делу декабристов, «узнав о существовании общества и по соизволению покойного государя императора, изъявил желание свое вступить в члены, в намерении открыть чрез то подробности заговора»[21]. Волконский присоединился к кружку Пушкина — Раевского, чтобы при­смотреться к Витту и, как свидетельствуют документы, «советовал отклонить предложение графа Витта о вступлении в общество»[22].

Вместе с письмом Волконского Пушкин получил письмо от Александра Раевского. Последнее производит впечатление написанного не столько для Пушкина, сколько для возможных перлюстраторов письма:

Вы пишете, что боитесь скомпрометировать меня перепиской с Вами. Такое опасение ребячливо во многих отношениях, а к тому же бывают обстоятель­ства, когда не приходится считаться с подобными соображениями. Да и что может быть компрометирующего в нашей переписке? Я никогда не вел с Вами разговоров о политике; Вы знаете, что я не слишком высокого мнения о политике поэтов, а если и есть нечто, в чем я могу вас упрекнуть, так это лишь в недостаточном уважении к религии — хорошенько запомните это, ибо не впервые я об этом Вам говорю[23].

Письмо Раевского указывает на то, что он знал, что Пушкин был выслан по обвинению в атеизме и что переписка поэта перлюстрируется. Очень ве­роятно, что Пушкин не поверил в искреннее желание своего друга объ­ясниться именно с ним и посчитал приведенные выше строки адресованными перлюстраторам (и поэтому весьма напоминающими донос). Во всяком слу­чае, именно в тот день, когда к нему пришли письма Волконского и Раевского, 18 октября 1824 года, им и было написано стихотворение «Коварность».

Письмо Волконского включает в себя эстетические советы Пушкину: «Со­седство и вспоминании о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для Вас предметом пиитических занятий — а соо<те>чествен- никам Вашим труд Ваш памятником славы предков — и современника».

Советы Волконского отражают коллективное представление декабристов о том, в каком направлении «должно» было развиваться творчество Пушкина, довольно точно предваряя «установки», которые очень скоро, в начале января 1825 года, Пушкин получит от К.Ф. Рылеева («Прощай, будь здоров и не ле­нись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы»[24]). Но конечно, само по себе это не может служить даже косвенным свидетельством намерения Волконского принять Пушкина в члены Южного общества. А вот о том, что, по мнению Волконского, творчество Пушкина стояло не на «том», на котором надобно, «пути», пожалуй, свидетельствует.

Воспоминания декабристов и, главное, документы следствия не подтвер­ждают намерения Волконского (а тем более данного ему кем-то поручения) принять Пушкина в Южное обшество. Более того, в итоговом документе следствия, «Алфавите декабристов», специально отмечалось: «.несмотря на то, что был начальником Каменецкой управы, не действовал ни на привлече­нии к обществу, ни на приготовление подчиненных своих к цели оного. В от­ветах был чистосердечен»[25].

«Поздний» Вяземский не верил в то, что декабристы не приняли Пушкина в тайное общество, опасаясь за его талант, и прямо писал об этом:

Многие из них (декабристов. — И.Н.) были приятелями его, но они не нахо­дили в нем готового соумышленника, и, к счастию его самого и России, они оставили его в покое, оставили в стороне. Этому соображению и расчету их можно скорее приписать спасение Пушкина от крушений 25-го года, нежели желание, как многие думают, сберечь дарование его и будущую литератур­ную славу России. Рылеев и Александр Бестужев, вероятно, признавали себя такими же вкладчиками в сокровищницу будущей русской литературы, как и Пушкин, но это не помешало им самонадеянно поставить всю эту ли­тературу на одну карту, на карту политического быть или не быть[26].

II

Период тесного общения Пушкина с И.Д. Якушкиным приходится на ноябрь 1820 года, когда поэт некоторое время жил в имении братьев Давыдовых — Каменке. Здесь в ноябре — декабре 1820 года Пушкин оказался в эпицентре дискуссии, которая была продолжена в январе 1821 года на Московском съезде Союза благоденствия. Вопрос, который обсуждался в Каменке, — могло ли тайное общество быть полезным России, — был центральным и в Москве, где так же, как и в Каменке, мнения декабристов разделились: не­которые отрицали эту полезность, другие, и среди них были Якушкин и Ва­силий Давыдов, считали, что тайное общество в России необходимо.

Из «Записок» И.Д. Якушкина мы узнаем о знаменитом споре, имевшем место в Каменке:

М.Ф. Орлов предложил вопрос, насколько было бы полезно учреждение Тай­ного общества в России. <Александр> Раевский стал мне доказывать про­тивное и исчислил все случаи, в которых Тайное общество могло бы дейст­вовать с успехом и пользой; в ответ на его выходку я ему сказал: «Мне не­трудно доказать вам, что вы шутите; я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало Тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?» — «Напротив, наверное бы присоединился», — отвечал он. «В таком случае давайте руку», — сказал я ему. И он протянул мне руку, после чего я расхохотался, сказав Раевскому: «Разумеется, все это только одна шутка».

Другие также смеялись, кроме А.Л., «рогоносца величавого», который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован; он перед этим уве­рился, что Тайное общество или существует, или тут же получит свое на­чало и он будет его членом; но когда увидел, что из этого вышла только шутка, он встал, раскрасневшись, и сказал со слезой на глазах: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». В эту ми­нуту он был точно прекрасен[27].

Данный эпизод — один из самых известных в пушкинской биографии. Его обычно приводят как доказательство близости поэта к декабристам. И в опре­деленной степени это справедливо, потому что спор в Каменке — конечно, не просто мистификация, а начало жарких прений, продолженных его участни­ками М.Ф. Орловым, И.Д. Якушкиным, К.А. Охотниковым уже в Москве, на последнем съезде Союза благоденствия, менее чем через месяц после описан­ных событий. Участие в этой дискуссии Пушкина — важный показатель того, что Пушкин подошел к заговору очень близко.

В то же время — это история о том, как Пушкин, подойдя к заговору, все- таки не был в него вовлечен. Якушкин не дает прямого объяснения этому обстоятельству, а «заставляет» самого Пушкина его объяснить, вкладывая в уста поэта слова, которых он, скорее всего, никогда не произносил: «В 27-м году, когда он пришел проститься с А.Г. Муравьевой, ехавшей в Си­бирь к своему мужу Никите, он сказал ей: "Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в свое общество; я не стоил этой чести"»[28]. Впрочем, вспоминая о своей встрече с Пушкиным в 1820 году, Якушкин об­молвился: «Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе; при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и все вместе выходило как-то очень пошло»[29].

Указание на «других приятелей» Пушкина, которые представляли пове­денческие нормы, чуждые Якушкину, объясняет то, почему в отношениях с Пушкиным Якушкин не решился перейти границу, отделявшую поэта от тайного общества. Нельзя не отметить того, что особое неодобрение высоко­нравственного Якушкина заслужил флирт Пушкина с двенадцатилетней до­черью А.Л. Давыдова. К этому можно добавить, что в Каменке разворачивался у всех на глазах его роман с женой А.Л. Давыдова, Аглаей.

III

Глубже и драматичнее, чем с Якушкиным, складывались взаимоотношения Пушкина с В.Л. Давыдовым. Последний был среди тех, кто не признал решения московского съезда Союза благоденствия о роспуске организации и принял самое деятельное участие в создании нового тайного общества. Пушкин со­провождал Давыдова в его поездках в Тульчин и в Киев. Именно там в дис­куссиях, подобных той, которую описал Якушкин, рождалось Южное общество.

Прямых свидетельств того, что Василий Давыдов собирался принять Пушкина в тайное общество, а затем передумал, нет, но никогда Пушкин не подходил к заговору так близко, как январе — марте 1821 года.

Неожиданно и без всяких видимых причин общение поэта и декабриста пресеклось. Произошло это сразу после Пасхи 1821 года, пришедшейся на март. Можно предположить, что инициатором разрыва выступил Давыдов. Такое заключение подтверждается записью Горбачевского на полях его письма М.А. Бестужеву: «Его (Пушкина. — И.Н.) прогнал от себя Давыдов»[30]. Наиболее вероятной причиной разрыва нам представляется стихотворное послание поэта Давыдову <«Меж тем как генерал Орлов...»>, написанное сразу после пасхальной недели 1821 года. Мы посвятили анализу этого сти­хотворения отдельную статью, здесь же необходимо отметить, что стихотво­рение сочетало политический либерализм с религиозным вольномыслием вызывающе кощунственного характера[31]. Послание, выдержанное в духе французского предреволюционного либертинажа, как и кощунственные по­ступки Пушкина в этом же духе на Пасху 1821 года, вряд ли пришлись по вкусу В.Л. Давыдову, которого современники характеризуют как человека, настроенного патриотически и даже простонародно[32]. «Как человек, он мне не понравился, — свидетельствовал декабрист Н.В. Басаргин, познакомив­шийся с Пушкиным в это время. — Какое-то бретерство, самодовольство и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли»[33].

IV

Отзыв Горбачевского о Пушкине, как уже указывалось выше, был полеми­ческой реакцией на «Записки» Пущина. В целом доброжелательные по от­ношению к Пушкину, они содержат несколько весьма критических оценок его поведения, например:

Между тем тот же Пушкин, либеральный по своим воззрениям, имел какую- то жалкую привычку изменять благородному своему характеру и очень часто сердил меня и вообще всех нас тем, что любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышева, Киселева и других: они с покрови­тельственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: «Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом; ни в одном из них ты не найдешь сочувствия и пр.». Он терпеливо выслушает, начнет щекотать, об­нимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом, смот­ришь, — Пушкин опять с тогдашними львами! (Анахронизм: тогда не су­ществовало еще этого аристократического прозвища. Извините!)[34]

Отзыв Пущина звучит особенно сурово еще и потому, что общество, в ко­торое он помещает своего друга, отмечено «специальным» отношением к де­кабристам и декабристов к ним. Так, упомянутый Орлов (Алексей Федорович Орлов (1786—1861)) активно участвовал в подавлении восстания декабри­стов, с 1844 года был шефом корпуса жандармов и начальником Третьего отделения. Чернышев (Александр Иванович Чернышев (1785—1859)) — член Верховного уголовного суда по делу декабристов. Предлагаемые им приго­воры отличались особой жестокостью; с 1832 года — военный министр. Ки­селев (Павел Дмитриевич Киселев (1788—1872)) — человек значительно бо­лее сложной репутации. Он дружил со многими декабристами, и в то же время именно он инициировал слежку за декабристами во 2-й армии, которую фактически возглавлял. В николаевскую эпоху он стал министром государст­венных имуществ. Сосланные декабристы, ставшие после лишения дворян­ства «государственными крестьянами», находились в его ведении.

То, что Пущин помещает Пушкина в такую сомнительную компанию, сви­детельствует о том, что он судит его ничуть не менее сурово, чем Горбачев­ский. При этом Пущин не ограничивается единственным примером того, как Пушкин «изменял благородному своему характеру», а упоминает, по крайней мере, еще один:

... Вскоре случилось мне встретить Сергея Львовича на Невском проспекте.

«Как вы, Сергей Львович? Что наш Александр?»

«Вы когда его видели?»

«Несколько дней тому назад у Тургенева».

Я заметил, что Сергей Львович что-то мрачен.

— Je n'ai rien de mieux a faire que de me mettre en quatre pour retablir la reputation de mon cher fils. Видно, вы не знаете последнюю его проказу.

Тут рассказал мне что-то, право, не помню, что именно, да и припоминать не хочется.

«Забудьте этот вздор, почтенный Сергей Львович! Вы знаете, что Алек­сандру многое можно простить, он окупает свои шалости неотъемлемыми достоинствами, которых нельзя не любить».

Отец пожал мне руку и продолжал свой путь. Я задумался, и, признаюсь, эта встреча, совершенно случайная, произвела свое впечатление: мысль о принятии Пушкина (в Тайное общество. — И.Н.) исчезла из моей головы[35].

Характерно, что Пущин, как Якушкин и Горбачевский, прямо не говорит о том, что в поведении Пушкина было столь вызывающе аморально. Горба­чевский ссылается на рассказы «старших товарищей» («Мне рассказывали Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что и теперь уши краснеют»). Пущин в своих «Записках» высказывается ни­чуть не более ясно. Пытаясь понять, что же все-таки так сильно потрясло ко многому привычного отца поэта и о чем умолчал в своих записках Пущин, можно утверждать, что имелись в виду не любовные приключения Пушкина. О последних Пущин вспоминает без всякого порицания, скорее даже с удо­вольствием: «Между нами было и не без шалостей. Случалось, зайдет он ко мне. Вместо: "Здравствуй", я его спрашиваю: "От нее ко мне или от меня к ней?" Уж и это надо вам объяснить, если пустился болтать.

В моем соседстве, на Мойке, жила Анжелика — прелесть полька!

На прочее завеса!»[36]

При этом «Записки» Пущина все же дают ключ к пониманию того, что именно Пущин считал особенно предосудительным в поведении своего друга. Ключ этот содержится в следующем признании: «Не заключайте, пожалуй­ста, из этого ворчанья, чтобы я когда-нибудь был спартанцем, каким-нибудь Катоном; далеко от всего этого: всегда шалил, дурил и кутил с добрым това­рищем. Пушкин сам увековечил это стихами ко мне, но при всей моей готов­ности к разгулу с ним, хотелось, чтобы он не переступал некоторых границ и не профанировал себя, если можно так выразиться, сближением с людьми, которые, по их положению в свете, могли волею и неволею набрасывать на него некоторого рода тень»[37].

Итак, не просто разгул, а какой-то особенный, профанирующий разгул, определенный общением Пушкина с какими-то сомнительными людьми, порицает Пущин. «Записки» Пущина позволяют довольно точно установить, когда и с кем Пушкин совершил нечто такое, что так расстроило его отца и что, между прочим, послужило препятствием для принятия Пушкина в тайное общество: «Самое сильное нападение Пушкина на меня по по­воду общества было, когда он встретился со мною у Н.И. Тургенева, где тогда собирались все желавшие участвовать в предполагаемом издании по­литического журнала»[38]. Мы можем определенно датировать время этой встречи маем 1819 года. Именно тогда случилось что-то, что так огорчи­ло Сергея Львовича; можно предположить, что это произошло в компании тех, с кем, по мнению Пущина, поэт «переступал границы» и «профаниро­вал себя»[39].

Выше мы уже приводили мнение Пущина о том, что Пушкин унижал себя, стремясь к общению с людьми, стоявшими выше его по социальному поло­жению, — А.Ф. Орловым, А.Н. Чернышевым и П.Д. Киселевым, но, конечно, это были не те, кто отбрасывал на поэта «некоторого рода тень».

Кто же были «те»?

С марта 1819 года начинается деятельное участие Пушкина в заседаниях дружеского общества «Зеленая лампа». И здесь стоит отметить, что первые биографы Пушкина, Анненков и Бартенев, считали «Зеленую лампу» оргиа- стическим обществом безоговорочно[40].

Щеголев столь же безоговорочно объявил «Зеленую лампу» филиалом Союза благоденствия на том основании, что некоторые его члены принимали участие в заседаниях и застольях общества[41]. Б.В. Томашевский, соглашаясь с Щеголевым в главном — в том, что «Зеленая лампа» являлась филиалом Союза благоденствия, — дополняет его позицию:

Все слухи о веселом характере собраний у Всеволжского имеют своим про­исхождением то, что смешивали заседания «Зеленой лампы» с веселыми вечеринками в доме Всеволжского, на которых действительно хозяин не жалел шампанского. Именно о подобных вечерах, а не о «Зеленой лампе» вспоминал Пушкин в письме Всеволжскому 1824 года, где он называл себя верным субботам (курсив Томашевского. — И.Н.) Всеволжского. Именно к субботам Всеволжского и относятся все слухи об оргиях, слухи, вероятно, сильно преувеличенные. Но мы уже видели, что ни одно из заседаний «Зе­леной лампы» не приходилось на субботу. Это и понятно: по субботам не было спектаклей[42].

С Томашевским можно согласиться лишь отчасти, принимая во внимание, что круг лиц, присутствовавших на чинных обраниях «Зеленой лампы» по будним дням, в значительной степени совпадал с кругом участников «оргиа- стических» суббот. Выявить имена тех и других несложно, поскольку дошед­ший до нас архив «Зеленой лампы» содержит имена тех, кто приходил в дом Всеволжского по будним дням, тогда как переписка Пушкина и его поэтиче­ские послания называют тех, кто веселился там по субботам.

Итак, на основании архива «Зеленой лампы» видно, что членами общества были С.П. Трубецкой, Ф.Н. Глинка, Я.Н. Толстой, А.А. Токарев, А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, Н.И. Гнедич, А.Д. Улыбышев, Д.Н. Барков, Д.И. Долгоруков, А.Г. Родзянко, Ф.Ф. Юрьев, И.Е. Жадовский, П.Б. Мансуров, Н. Всеволожский. По субботам же в дом Всеволжского приезжали П.Б. Мансуров, Н.И. Кривцов, Ф.Ф. Юрьев, В.В. Энгельгардт, братья Всеволжские, А.Г. Родзянко.

Скорее всего, на веселые субботы приезжали также Дельвиг и Яков Тол­стой. Не будем забывать о том, что и те, и «другие» мероприятия происхо­дили в одном и том же доме — у Никиты Всеволжского. Здесь по будним дням члены общества собирались, чтобы обсуждать театральные обзоры и политические новости, читать друг другу свои произведения, а по субботам приезжали для других занятий, которые сочетали формы традиционного раз­врата с действиями отчетливо кощунственного характера. Так, например, ра­зыгрывались сцены под названием «Изгнание Адама и Евы из рая», один из членов общества называл себя «гражданин Содома».

Пушкин был активным участником, по крайней мере, трех официальных заседаний «Зеленой лампы» и значительного числа «оргиастических». Послед­ние часто происходили в публичных местах, что, естественно, делало их осо­бенно скандальными. На Пасху 1819 года Пушкин и, возможно, Н. Всеволжский, проникли под видом говенья в церковь при Театральной школе, чтобы ухажи­вать за воспитанницами. Произошло это незадолго до встречи Пушкина и Пу­щина в доме Николая Тургенева в мае того года, и именно данное происшествие, по-видимому, огорчило отца поэта и послужило причиной того, что Иван Пущин раздумал посвящать друга в свои планы относительно тайного общества.

Возможно, что было это на Пасху 1820 года, а отца поэта расстроило какое- то другое происшествие из жизни сына. Однако и в мае 1819 года Пушкин имел устойчивую репутацию либертена, о чем А.И. Тургенев рассуждал в письме к П.А Вяземскому. Так, пеняя другу за употребление последним сравнения себя с Христом, Тургенев находит, что оно «и безбожно, и хуже этого, и в роде молодого Пушкина»[43].

Б.В. Томашевскому принадлежит получившая распространение в пушки­новедении точка зрения о том, что «не только биографические обстоятель­ства толкали Пушкина на протест: веселое кощунство, которому предавался Пушкин, было не только ответом на принудительное отправление религиоз­ных обрядов. Мистический тон царил в это время в высоких правительствен­ных кругах»[44].

Томашевский называл «веселым кощунством» поэму «Гавриилиада» и именно ее считал реакцией на правительственный мистицизм. Однако поэма писалась в пасхальную и предпасхальные недели в 1821 года в Кишиневе, тогда как главным местом правительственного мистицизма был Петербург, а временем его наиболее активного насаждения — два последних петербургских года Пушкина, 1818—1820-й. Кощунственное поведение поэта в эти годы и было реакцией на правительственный курс по утверждению в России очень специфического набора религиозно-нравственных норм во имя «евангельского государства»[45]. Центром этой большой духовной работы выступал Департа­мент духовных дел Министерства просвещения во главе с А.И. Тургеневым. Эту же задачу решало Библейское общество, где А.И. Тургенев также играл одну из важнейших ролей. Именно поэтому реакция А.И. Тургенева на пуш­кинское кощунственное поведение была особенно болезненной — он был са­мым близким Пушкину человеком из старшего поколения и одновременно одним из самым активных проводников правительственного курса.

Из отзыва понятно, что Александр Тургенев видел в пушкинском поведе­нии не просто «веселое кощунство», а форму либертенного поведения, по­скольку упрекал Пушкина не просто в «безбожии», а в чем-то, что «хуже этого». А хуже безверия — либертинаж, не просто дезавуирующий действую­щую систему религиозных ценностей, но и предполагающий ей известную альтернативу.

Деятельность по насаждению в обществе морально-этических норм вело не только правительство. Другим нормообразующим центром гражданского поведения в 1818—1820 годы был Союз благоденствия, и направление коди­фицирующих усилий правительства и Союза благоденствия во многом сов­падали, различаясь лишь в одном, правда, очень существенном отношении: правительство учреждало в стране религиозное вольномыслие и некоторое равенство христианских конфессий, тогда как декабристы пытались отстаивать приоритет национального начала в гражданской этике и в религиозной жизни.

Таким образом, «веселое кощунство» Пушкина воспринималось как враж­дебное не только правительством, но и декабристами, поскольку либертинаж поэта не особенно отличал насаждаемый правительством мистицизм от мо- рализаторских начинаний членов Союза благоденствия, и главным образом потому, что этот либертинаж носил определенный антимасонский оттенок, — субботние разгульные встречи «Зеленой лампы» имели в своей основе паро­дирующий масонские собрания элемент.

Можно утверждать, что в 1818—1820 годах в глазах современников эро­тизм поэзии и кощунственное поведение перевешивали демонстрируемую Пушкиным склонность к политическому свободомыслию. Между тем для са­мого поэта важны были все три составляющие его творческого мировоззре­ния, а именно подчеркнутый эротизм, религиозное вольномыслие и политический либерализм. Именно в таком сочетании пушкинское кредо было выражено в ряде программных стихотворений 1819—1820 годов: «N. N.» («<В. В. Энгельгарту>»), «Веселый пир», «Всеволожскому», «Послание к кн. Горчакову» (все — 1819 год), «Юрьеву» (1820). Все эти произведения, кроме «Послания к кн. Горчакову», адресованы членам «Зеленой лампы». Триедин­ство эротики (культа наслаждения), политического либерализма и религиоз­ного вольномыслия отражено в поэтических формулах, которыми поэт ха­рактеризует своих друзей; так, к В.В. Энгельгарту обращены строки: «Сво­боды, Вакха верный сын, / Венеры набожный поклонник / И наслаждений властелин!»[46] С ним же Пушкин собирался поговорить «Насчет холопа за­писного, / Насчет небесного царя, / А иногда насчет земного»[47]. Н. Всеволж- ский назван так: «.счастливый сын пиров, / Балованный дитя Свободы!»[48] Перечисленные поэтические формулы — топосы пушкинской поэзии того времени, они не слишком индивидуализированы и могут быть отнесены ко всем веселым и свободолюбивым друзьям поэта из «Зеленой лампы».

Значительно более индивидуализированы автоописания, и прежде всего:

А я, повеса вечно-праздный,

Потомок негров безобразный,

Взрощенный в дикой простоте,

Любви не ведая страданий,

Я нравлюсь юной красоте

Бесстыдным бешенством желаний...[49]

«Бесстыдное бешенство желаний», объясняемое негритянскими корнями автора, должно было отсылать читателя к другому поэту негритянского про­исхождения, чья эротическая поэзия определила лицо русской любовной лирики пушкинской эпохи. Этим поэтом был Эварист Парни (1753—1814)[50]. Важность поэзии Парни для Пушкина в рассматриваемый период и в осо­бенности в год написания послания «Юрьеву» отмечалась исследователями[51], однако акцентуация Пушкиным своей негритянской родословной никогда не рассматривалась в связи с именем Парни.

Для современников происхождение французского поэта было важно. Так, Рене Шатобриан вспоминал о Парни: «Никогда я не знал писателя, который бы так походил на свои творения: ему, поэту и креолу, нужно было немногое — небо Индии, родник, пальма и женщина»[52]. Русские читатели знали Парни как автора «Мадагаскарских песен» (1787), в которых «негри­тянская» тема была основной. Особенно популярной в России была Восьмая песня в переводе К.Н. Батюшкова (1811). Однако эротизм оригинала в пере­воде Батюшкова оказался ослаблен, что было типично для русских переводов Парни. Как показал В.Э. Вацуро, русские переводчики Парни опускали в своих переводах все, оскорблявшее приличия[53]. Особенно сильной трансфор­мации на русской почве подверглось понятие «сладострастия», ключевое для поэзии Парни. Так, у Батюшкова «сладострастие выступает синонимом "ду­ховного наслаждения"»[54]. Пушкинское «бесстыдное бешенство желаний» вкупе с акцентуацией собственного негритянского происхождения должно было восстановить утраченный Парни в русских переводах образ «креола. <который> от рождения получил восприимчивость к музыке и чувствен­ность южанина» — так описал Парни один из самых тонких литературных критиков, Сент-Бёв[55].

Парни был интересен Пушкину не только как автор любовной лирики, но и как поэт, открытый политическим темам. Не случайно П.О. Морозов уви­дел влияние Парни в самом остром политическом стихотворении Пушкина 1819 года — «Деревня»[56].

Наконец, для Пушкина были чрезвычайно важны антиклерикальные про­изведения Парни, более всего «Война древних и новых богов» (1799). Правда, этот интерес отразился в пушкинской поэзии — в «Гавриилиаде» и в посла­нии «В.Л. Давыдову» — несколько позже, в 1821 году. Учитывая острый ин­терес Пушкина к Парни, можно смело предположить, что ему была хорошо известна и биография французского поэта, его участие в Революции и про­тивостояние деспотизму Наполеона в годы Империи.

Самоидентификация Пушкина с Парни должна была помочь публике рас­познать «русского Парни» и сделать характерные для поэзии Парни эротизм, либертинаж и либерализм частями единого творческого образа, возможно, антитетического образу Батюшкова. Как известно, этого не произошло. Со­временники не разглядели в пушкинском творчестве эпохи «Зеленой лампы» связи с Парни. Особый интерес представляет реакция Батюшкова на посла­ние Пушкина «Юрьеву», процитированное выше: «Он (Батюшков. — И.Н.) судорожно сжал в руках листок бумаги и проговорил: "О! Как стал писать этот злодей"»[57]. Возможно, Батюшков был единственным, кто усмотрел в по­слании «Юрьеву» претензию Пушкина на роль «русского Парни», и испу­гался соперничества.

Послание «Юрьеву» было напечатано самим адресатом не позднее 1821 го­да в ограниченном количестве экземпляров без указания места и года издания[58], но распространения среди декабристов не получило. Это можно объяснить тем, что круг людей, среди которых стихотворение имело хожде­ние, с декабристским не пересекался. Поэтические послания Пушкина дру­гим членам «Зеленой лампы» также в декабристском кругу не разошлись. Популярными в декабристской среде стали только те стихотворения поэта, в которых политический радикализм совмещался со строгой моралью, прежде всего «Чаадаеву», «Кинжал» и «Вольность». Для декабристов совме­щение либертенного и либералистского дискурсов не допускалось не только в жизни, но и в поэзии. Пушкин олицетворял противоположное начало, где политическая свобода не только могла, но и просто обязана была сочетаться с широким спектром жизненных удовольствий.

Здесь проходит водораздел не только между Пушкиным и декабристами, но и между декабристами и дружеским литературным обществом «Зеленая лампа». Кажется, можно наконец подвести итоги долгой полемики и ответить отрицательно на вопрос, была ли «Зеленая лампа» декабристской организа­цией. Ответ этот следует из тех же предпосылок, что и объяснение того, по­чему Пушкина, несмотря на дружбу со многими членами тайного общества и сочувствие их целям, нельзя отнести к декабристам. Сочетание эротиче­ского, либертенного и либерального дискурсов было раздражающим и не­приемлемым и для правительства, и для декабристов. Поэтому примерно в одно и то же время правительство отправляет поэта в ссылку под духов­ный надзор[59], а Верховная Дума Южного общества накладывает запрет на знакомство с ним.

Итак, хотя по форме выражения оценка Горбачевского звучит резче дру­гих суждений современников, по существу она совпадает с многими из них[60] и отражает то, что В.Э. Вацуро назвал «социальной репутацией» Пушкина среди декабристов. Конечно, с конца 1850-х — начала 1860-х годов декабри­сты избегали критиковать Пушкина публично, потому что в контексте после- реформенной общественной борьбы критика личности поэта приобретала разночинное звучание, которого большинство декабристов в нее не вклады­вали, судя поэта сообразно с дворянскими представлениями о чести. Горба­чевский выразил свое мнение с демократической прямотой, нарушив тем самым сословное табу. В этом прежде всего и состоит отмеченный Парсамо- вым «демократизм» Горбачевского, сближавший его с писаревской критикой. Очень вероятно, что и в 1880 году, когда М.И. Семевский декларативно от­казался публиковать отзыв Горбачевского, он еще сохранял свой «ниги­листический» подтекст. Будь он обнародован, историческим фоном ему послужили бы торжества по случаю открытия памятника Пушкину в Москве и речь Достоевского, в которой прозвучало: «Пушкин есть явление чрезвы­чайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) Семевский М.И. Александр Сергеевич Пушкин. 1799— 1837. (Под редакцией П.А. Ефремова) // Русская старина. 1880. № 1. С. 136.

2) День. 1913. № 6—10.

3) Горбачевский ИИ. Записки и письма. М., 1925. С. 359—360.

4) Цит. по: Эйдельман НЯ. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 147—148. Здесь отзыв Горбачевского приведен по авто­графу, находящемуся в Отделе рукописей Российской на­циональной библиотеки.

5) Щеголев П.Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.; Л., 1931. С. 293—296.

6) См.: Горбачевский ИИ. Записки. Письма. М.; Л., 1963. С. 337.

7) См.: Парсамов В.С. А.С. Пушкин в оценке декабриста И.И. Горбачевского (из комментариев к письму И.И. Гор­бачевского М.А. Бестужеву от 12 июня 1861 года) // Из­дания кафедры истории России исторического факультета СГУ. 1998. Выпуск 17. Цит. по: http: // decemb. hobby.ru/ index.shtml?article /parsanov.

8) Там же.

9) Там же.

10) Обручев ВА. Из пережитого (отрывок) // Горбачевский И.И. Записки. Письма. М.; Л., 1963. С. 245.

11) Эйдельман НЯ. «Я не могу забыть.» (Декабрист Горба­чевский о Пушкине) // Эйдельман Н.Я. Пушкин и декаб­ристы. М., 1979. С. 143—168.

12) Там же. С. 158.

13) См.: Цявловская Т.Г. «Храни меня, мой талисман...» // Прометей. Кн. 10. М., 1974. С. 46.

14) Лотман ЮМ. Пушкин: Биография писателя. СПб., 1995. С. 53

15) Бутурлин МД. Записки // Русский архив. 1897. № 5. С. 15.

16) Об этом см.: Семевский М.И. К биографии Пушкина: Вы­держки из записной книжки//Семевский М. И. Прогулка в Тригорское: Биографические исследования и заметки о Пушкине. СПб., 2008. С. 171—228. О том, что Пушкин, возможно, был под епитимьей, см.: Бартенев П.И. О Пуш­кине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современ­ников. М., 1992. С. 298; Березкина С.В. Пушкин в Михай­ловском: О духовном надзоре над поэтом (1824—1826) // Русская литература. 2000. № 1. С. 3—20.

17) Вацуро В.Э. Пушкин в сознании современников // Пушкин в воспоминаниях современников. СПб., 1998. Т. 1. С. 13.

18) Цит. по: Нечкина М.В. Новое о Пушкине и декабристах // Литературное наследство. 1952. Т. 58. С. 163.

19) Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 20 т. М.; Л., 1937. (Далее — ПСС). Т. 13. С. 112.

20) См.: Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя. С. 90—91.

21) Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 252.

22) Там же. С. 240.

23) Пушкин А.С. ПСС. Т. 13. С. 529.

24) Пушкин А.С. ПСС. С. 133.

25) Декабристы: Биографический справочник. С. 240.

26) Вяземский ПА. Приписка к статье «Цыганы. Поэма Пушки­на» // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 119.

27) Якушкин И.Д. Из «Записок» // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 356.

28) Якушкин И.Д. Указ. соч. С. 358.

29) Там же. С. 357.

30) Цит. по: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 148.

31) См.: Немировский И.В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб., 2003. С. 45—73.

32) См.: Горчаков В.П. Выдержки из дневника об А.С. Пушки­не // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 231.

33) Басаргин Н.В. Записки. Пг., 1917. С. 24.

34) Пущин И.И. Записки о Пушкине // Пушкин в воспомина­ниях современников. Т. 1. С. 86.

35) Пущин И.И. Указ. соч. С. 88.

36) Там же. С. 86.

37) Пущин И.И. Указ. соч. С. 88.

38) Там же. С. 87.

39) Там же.

40) Анненков П.В. А.С. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874. С. 63.

41) Щеголев П.Е. Указ. соч.

42) Томашевский Б.В. Пушкин. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 205.

43) Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. СПб., 1899. Т. 2. С. 228.

44) Томашевский Б.В. Указ. соч. С. 427—428.

45) См.: Вишленкова ЕА. Религиозная политика: официальный курс и «общее мнение» России александровской эпохи. Изд-во Казанского университета, 1997. С 108—109.

46) Пушкин А.С. ПСС. Т. 2. С. 83.

47) Там же.

48) Там же. С. 101.

49) Там же. С. 139—140.

50) О Пушкине и Парни см.: Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. СПб., 1994 (по именному указателю); Томашевский Б.В., Вольперт Л.И. Парни // Пушкин. Исследования и материалы. СПб., 2004. Т. 18. С. 233—235.

51) «...Для Пушкина в 1819 году Парни был любимым ино­странным поэтом» (Эткинд Е.Г. Поэзия Эвариста Пар­ни // Парни Э. Война богов. Л., 1970. С. 190; см. также: Морозов П.О. Пушкин и Парни // Пушкин. [Сочинения] / Под редакцией С.А. Венгерова. Издание Брокгауза и Еф­рона. СПБ., 1907. Т. 2. C. 380—392.

52) Цит. по: Эткинд Е.Г. Указ. соч. С. 199.

53) Вацуро В.Э. Указ. соч. С. 104.

54) Вацуро В.Э. Указ. соч. С. 97.

55) Там же. С. 87.

56) Морозов П.О. Указ. соч. С. 390.

57) См.: Анненков П.В. Материалы к биографии Пушкина. СПб., 1855. С. 55.

58) Пушкин А.С. ПСС. Т. 2. С. 107.

59) См. письмо М.С. Воронцова А.Д. Гурьеву от 24 июля 1824 года: «Государь император по дошедшим до Его Ве­личества многим сведениям изволили усмотреть, что кол­лежский секретарь Пушкин, к несчастью, не только не переменил поведения и дурных правил, кои ознаменовали первые шаги общественной его жизни; но даже распро­страняет в письмах своих предосудительные и вредные мнения» (Александр Сергеевич Пушкин: Документы к биографии: 1799—1829. СПб., 2007. С. 446).

60) Ср., например, отзыв о Пушкине декабриста Д.И. Завали- шина: «Он всеми силами добивался быть приняту в Тайное общество, но его заповедано было не принимать, зная край­нюю его изменчивость, и чем ближе кто его знал, тем более был уверен в этом крайнем его недостатке, имея множество фактов быстрых его переходов от одной крайности к дру­гой, и законное основание не доверять ему из одного тще­славия проникнуть в великосветский и придворный круг, чтобы сделаться там "своим" человеком, что в нем всегда подмечали» (Писатели-декабристы в воспоминаниях со­временников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 247—248)